

**МАРИНА
ЮДЕНИЧ**



Игры марионеток

Издательские решения

Марина Юденич

Игры марионеток

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8179207
ISBN 978-5-4474-0093-4*

Аннотация

Страшная, почти запредельная история, приключившаяся с известным тележурналистом едва не сводит его с ума... Женщина, достигшая высот политического Олимпа, вдруг понимает, что своим успехом обязана отнюдь не себе. Серия изощренных покушений на обладательницу миллиардного состояния срывается самым необъяснимым образом, но – если разобраться – и само состояние «свалилось» ей в руки самым загадочным образом, Что это, капризы провидения? Молодая женщина-психолог, испытавшая серьезное нравственное потрясение, пытается в одиночестве залечить душу в тихом провинциальном Довиле. Неожиданная встреча с одним из основоположников НЛП переворачивает всю ее жизнь «Игры марионеток» – один из самых загадочных романов Марины Юденич. Некоторые увидят в нём только психологический детектив с элементами мистики. Но если учесть биографию автора, занимавшего в недалёком прошлом высокие позиции в российской власти, выводы можно сделать куда более серьёзные...

Содержание

Старик и женщина. Год 2001	4
Макеев. Медиа	14
Старик. Год 1912	24
Горина. Власть	29
Старик. Год 1939	41
Лола. Нефть	45
Сатрик. Год 1941	51
Макеев. Медиа	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Марина Юденич

Игры марионеток

Старик и женщина. Год 2001

Старик приходил завтракать на террасу отеля каждое утро, неизменно в четверть десятого, и ни минутой позже.

Надо полагать, он был педантичен во всем.

Служащие показывали его новым постояльцам, как некую достопримечательность отеля и города – маленького нормандского городка на прохладном побережье Атлантики. На протяжении многих лет он приезжал сюда ранней весной.

В марте.

Пятнадцатого числа.

Всегда – пятнадцатого.

И непременно – последним поездом из Парижа.

Гораздо забавнее было то, что никакой другой информацией о старике в отеле не располагали.

Говорили, что он ученый, возможно – профессор, возможно даже академик, но доподлинно этого не мог утверждать никто.

Неизвестно было, в какой области работает постоялец.

Есть ли у него семья.

Живет ли он в Париже, и вообще – во Франции.

Сказать, что он был неразговорчив, значит – не сказать ничего.

Дней и месяцев, которые старик провел под крышей отеля, наверняка набежало уже на несколько лет, а быть может – и целое десятилетие, слова же, которые за это время он со- благоволил произнести, исчислялись сотней– другой.

Не более.

Только самые необходимые, и те – скупо, по одному, в классическом телеграфном стиле, сдобренном малой толикой вежливости.

«Кофе, пожалуйста»

«Мой шезлонг. Благодарю»

«Такси к девяти утра»

Никаких посторонних замечаний, и уж тем более рассуждений или шуток.

Ни слова о погоде и самочувствии.

Если случалось кому, по рассеянности или неведению обратиться к старику с праздным, дежурным вопросом, ответом было молчание. Невозмутимое, безразличное молчание человека, душа которого пребывает на изрядном расстоянии от того места, где находится тело.

Словом, рассказать о нем было практически нечего, но причина заключалась не только в том, что старик упорно не желал ни с кем общаться.

Слова порой бывают не столь уж важны, порой – могут даже исказить представление о том, кто их произносит.

Но многое может рассказать внешность.

Однако и в этом смысле, загадочный старик был практически неуязвим.

Единственное заключение, к которому немедленно приходил каждый, увидев его даже мельком, было исчерпывающим и кратким: старый человек.

Очень старый.

Более – ничего.

Годы сыграли со стариком презабавную шутку, напрочь лишив его внешность каких-либо индивидуальных признаков.

Старость с мастерством подлинного живописца растушевала отличительные черты.

Непонятно – блондином он был или брюнетом до того, как волосы поредели, стали похожими на пух и приобрели серебристо–серый оттенок.

Какими были его губы, прежде чем побледнеть – в синеву, истончиться, и запасть, отчего казалось, что старик постоянно их поджимает?

Был он прежде смуглым или бледнолицым?

Кожа напоминала древний, сухой пергамент, казалась неживой, желтовато – серой, и тонкой до прозрачности. На ней отчетливо проступали коричневые пигментные пятна, похожие на гигантские веснушки, странной, причудливой формы.

Наблюдая за ним однажды, молодая женщина, красивая,

одинокая и, наверное, от того – грустная, неожиданно подумала, что известная схожесть стариков и младенцев заключается еще и в этом – внешность их лишена индивидуальности.

Все крохи, как правило, на одно лицо: нос-кнопка, глаза-горошины, на голове – легкий пушок неопределенного цвета.

Глубокие старцы тоже похожи друг на друга: сетка морщин одинаково уродует лица, похоже проваливаются беззубые рты, поредевшие, седые волосы едва прикрывают голову.

Этой весной она впервые приехала в Нормандию и поселилась в тихом отеле, намереваясь отдохнуть в одиночестве.

Привести в порядок мысли.

Залечить душу.

Прошлая жизнь была перечеркнута.

Мосты, ведущие назад, сожжены.

Там осталось многое, без чего прежде она не мыслила существования, но все это было утеряно безвозвратно.

Остались боль, обида, тоска и одиночество.

Были минуты, когда жизнь казалась ей глупой пыткой, способной только продлевать и множить страдания.

Из этого следовало, что продолжать ее не имеет смысла.

Позже она поняла, что это не так.

Тогда женщина просто исчезла из своей прошлой жизни, ни с кем не простившись и не захватив ничего, даже самого

ценного или необходимого.

Она появилась в отеле с одной – единственной дорожной сумкой, содержимое которой могло вызвать удивление, а возможно – и некоторые подозрения.

Все, без исключения, вещи, заполнявшие сумку, были совершенно новыми.

Женщина купила их в Париже, перед тем, как сесть в поезд, идущий на север.

Ей казалось, что это правильно и даже совершенно необходимо – начинать новую жизнь в новых платьях и босоножках, словно в новой шкурке, натянутой взамен покинутой, старой.

Теперь она занималась душой, которую, к сожалению, невозможно было обновить с той же легкостью.

Но душа была жива и потому медленно, но неуклонно возвращалась к жизни.

Оказалось, что этому очень способствуют долгие прогулки вдоль моря, по пустынному пляжу, растянувшемуся на километры.

Свежий ветер Атлантики, налетая, путался в волосах и заполнял легкие чистым, прохладным дыханием.

Ветер казался целебным.

Он проветривал душу.

Уносил прочь ключья скорби.

Взамен приходила легкость, и новая жизнь распаивалась вдали, у самого горизонта, прозрачная и светлая, пронизан-

ная лучами сдержанного нормандского солнца, как небо над водами Ла-Манша.

Она гуляла целыми днями, и оставалась в отеле только в непогоду – когда над морем буйствовал холодный, злой ветер, взбивая волны и теребя тучи, из которых сразу же начал накрапывать мелкий дождь, унылый и нудный.

Тогда она приходила завтракать на террасу отеля и задерживалась там до обеда.

Читала книгу, или просто сидела в глубоком плетеном кресле, придвинув его к самым перилам, так, чтобы перед глазами простиралась только поверхность воды.

Серая.

Вздыбленная.

Придавленная сверху низким, свинцовым небом.

В тот день дождь зарядил еще ночью.

Мир проснулся мокрым, холодным, и от того, наверное, удручающе неприветливым.

На террасе было пусто.

В такую погоду постояльцы предпочитали завтракать в теплых номерах, и только угрюмый старик, нахохлившись больше обычно, сидел за столиком в глубине террасы.

Разумеется, этот был именно тот столик, который он любовал в первый же день пребывания здесь.

И, с той поры – неизменный.

Женщина же, напротив, этим утром изменила своей привычке, и устроилась подальше от перил, что было неудиви-

тельно – ветер то и дело швырял на террасу полные пригоршни дождя.

Она дождалась, пока официант налил ей кофе из большого хромированного кофейника, и, отхлебнув горячей ароматной жидкости, раскрыла книгу.

Она всегда завтракала так: уткнувшись в книгу, отламывала кусочки горячего круассона, и отрывалась от чтения, чтобы сделать глоток кофе.

Женщина совсем не следила за временем.

Это было несложно жизнь в отеле, да и во все городке текла плавно, никто никуда не спешил. Здесь не принято было беспокоить людей без особой нужды, и уж тем более никому в голову не пришло бы торопить человека, коротающего время за чашкой кофе.

Потому, наверное, она очень удивилась, ощутив вдруг чужое присутствие: кто-то близко стоял за спиной.

Первым вспорхнуло в сознании самое простое объяснение, но оно, как раз, и было, удивительным.

«Официант? – подумала женщина. – Но почему, зачем? Мне ничего не нужно»

Потом она обернулась, медленно, не слишком доверяя смутному ощущению, готовая легко согласиться с тем, что оно было обманчивым. Ей просто почудился кто-то.

Но оказалось – нет – не почудился.

За спинкой кресла, почти что, облокотясь на него, стоял старик. Вдобавок, он еще склонился над ней, смешно вытя-

нув дряблую шею, словно высматривая что-то на столе.

Когда она обернулась, их лица оказались очень близко, и едва не соприкоснулись.

Она остро почувствовала его запах – запах чистой, опрятной старости, хорошо знакомый ей с той поры, когда маленькой девочкой – несколько лет кряду – провела в доме деда. Это был запах лекарств, смешанный со слабым ароматом старомодного одеколona.

Его глаза были они неожиданно глубоки, темны, смотрели внимательно и не по-старчески остро.

– Вы, что же, читаете по-русски? – требовательно спросил старик, ни мало не смущаясь тем, что подглядывал в чужую книгу, и был застигнут.

– Я – русская

Старик распрямылся.

Но не отступил ни на шаг.

И не отвел глаз.

Однако, молчал, словно, вдруг глубоко задумался над услышанным.

Тогда заговорила женщина

– Вы – тоже?

– Я там родился. Но это было очень давно.

– Долго не живете в России?

– Долго. Намного дольше, чем жил.

– С начала века?

– Вы имеете в виду год одна тысяча девятьсот семнадца-

тый?

– Ну, семнадцатый, восемнадцатый... двадцатый....

– И двадцать первый, и даже двадцать второй... Они ведь опустили занавес только в тридцатых. Все едино – начало было положено в семнадцатом. Нет. Я не принадлежу к первой волне, хотя мог бы, наверное. Родители бежать не захотели, аябыл слишком мал – родился в двенадцатом году. В Киеве.

– Война?

– Да. Вторая мировая. Хотя воевать мне тоже не довелось. Сначала была броня, а потом – удивительно скоро – пришли немцы.

– Вы были в... плену? – Запинка была мимолетной, но он уловил ее и истолковал правильно

– Вас интересует, не служил ли я третьему рейху? Испугались встречи с предателем, не приведи Бог – карателем, полицаем?

– Чего же теперь бояться? Нет, я не испугалась, но....

– Но это было бы вам неприятно?

– Пожалуй, да. Впрочем, я стараюсь никогда не судить огульно.

– Действительно? Редкое свойство, тем более для такой молодой особы. Терпимость обычно запаздывает, приходит в старости, и толку от нее – чуть. Все непоправимое уже совершено: отринуты близкие люди, раздавлена любовь, убита дружба. И все – нетерпимость, идиотская категоричность,

которую упрямые, недалекие люди иногда путают с принципиальностью и даже честью. Так вот, сударыня, вы угадали: третьему рейху я, действительно, служил, хотя и не своей воле. Теперь в это почти никто не верит. Мой народ наци уничтожали только за то, что он существует на свете. А я – служил. . . . Карателем и полицаем не был, кровь людскую не проливал. . . . Впрочем, оправдываться не намерен. . . .

– Мне не нужны ваши оправдания.

– В самом деле? Вы великодушны. Что ж, поскольку разговор наш вышел за рамки дежурного, позвольте представиться. . . .

Макеев. Медиа

Крушение заняло совсем немного времени: каких-то пару секунд.

От силы – минуту.

Максимум – две.

Визг тормозов.

Тысячу раз слышал он этот отвратительный, леденящий кровь звук, рвущийся из динамиков, когда на экране возникали кадры автомобильной катастрофы.

Иногда сцена была смонтирована мастерски – и тогда злобный визг сопровождали столь же впечатляющие кадры, заставляющие сердце испуганно сжиматься в груди, и, холодея, срываться куда-то вниз в зияющую бездну ужаса.

Чаще, впрочем, это был всего лишь стандартный набор трюков, призванный обозначить в сознании классический штамп, хранящийся в памяти под кодовым названием «происшествие на дороге».

Однако ж, независимо от картинки, звук всегда оказывал более осязаемое воздействие, и некоторые режиссеры, уловив этот феномен, стали довольствоваться только звуком.

На экране мелькала дорога, несущиеся по ней автомобили....

Иногда – крупным планом – герой.

Или героиня.

Потом – вспышка.

Или, напротив – резкий провал в темноту....

И – звук.

Саднящий душу, стягивающий нервы в упругий жгут.

Надсадный визг тормозов и скрежет металла.

Это было странно, если не сказать больше.

Это потрясло, но за те секунды, пока звучал, раздирая душу, проклятый визг, он успел додумать эту, постороннюю вроде бы, праздную – не к месту и не ко времени, уж точно! – мысль до конца.

Впрочем, сознание его сейчас, вроде бы, тоже потерпело аварию, рассыпавшись при этом на множество мелких осколков.

Каждый теперь существовал вроде бы независимо друг от друга, словно в нем поселилось сразу несколько разных людей.

Тело же, несмотря на это, привычно выполняло то, что следовало сделать в первую очередь.

Он аккуратно съехал на обочину.

Включил аварийные огни.

Заглушил двигатель.

И только потом, медленно, словно спешить было некуда и незачем, выбрался из салона.

Ночь оказалась неожиданно теплой, хотя воздух еще наполнился влагой недавно прошедшего дождя.

Ночное небо было прозрачным и по-своему ярким.

Ласковый ветер легко справился с недавними дождевыми тучами, в сумерки застилавшими горизонт.

В вышине безраздельно царила полная луна, пронизывая все пространство вокруг ровным серебристым светом.

«Полнолуние» – внезапно подумал он, глядя на большой, ослепительно белый диск, окруженный ореолом зыбкого мерцания.

Залитое лунным светом шоссе струилось перед ним, как поток неширокой реки. Было оно гладким, а в бледно голубом сиянии казалось, к тому же, стерильно чистым.

И совершенно пустым.

Может – привиделось?

Нет, не привиделось!

Мышцы до сих пор были сведены властным импульсом, который отчаянно посылал мозг. Теперь сила его начинала ослабевать, и предательская дрожь завладевала конечностями.

Первыми сдали руки.

Но ватная слабость уже окутывала колени – он шел медленно, каждый шаг давался с трудом.

Нет, не привиделось!

Тело еще помнило короткий сильный спазм, который он ощутил сразу же после удара.

Господи!

Кто бы мог подумать, что надежный панцирь машины окажется таким хорошим проводником.

Нет, не привиделось!

Слишком ярким было воспоминание.

Пустынное шоссе, залитое лунным светом, легкая – он всегда любил незатейливые мелодии с четким ритмическим рисунком – музыка плещется в динамиках, полностью заполняя собой салон.

Он расслабился?

Да, конечно. – А почему бы и нет?

Трасса была отменной: ухоженный асфальт, хорошее освещение. Машин в этот час было так мало, что теперь ему казалось: их не было вовсе. К тому же, знал эту дорогу, как свои пять пальцев.

Да, он расслабился.

Впереди был небольшой пригорок – он газанул на подъеме.

Потом – не слишком крутой спуск, он и не собирался тормозить – так поступал всегда.

Машина плавно нырнула в распадок, приятно ускоряя бег. Короткий миг маленькой водительской радости....

Нет, не привиделось!

Все произошло именно тогда.

Странная какая-то, то ли бегущая, то ли – струящаяся фигура, залитая бледными сиянием.

Отчаянный импульс.

Бешенное, на пределе возможного, напряжение.

Живая плоть человека слилась с железным телом маши-

ны.

Физически, а не иллюзорно, он чувствовал, как они цепляются за асфальт, гася обороты двигателя, пластаются по гудрону, пытаясь противостоять естественным законам.

Удар.

Женское лицо за лобовым стеклом, так близко, что отчетливо различимо выражение безмерного удивления, которое застыло на нем.

Возможно, навеки.

Нет, не привиделось!

Но куда, черт побери, она подевалась?! Лунная незнакомка с удивленным лицом.

Выйдя из машины, он не взглянул на часы, и теперь не мог с уверенностью сказать, сколько времени продолжает поиски.

Минуту?

Пять?

Десять?

Мгновенья неощутимо проносились в лунном безмолвии, срываясь в бесконечность.

Впрочем, аварийные огни, пульсировали рядом, из чего следовало, что осмотрен совсем небольшой участок дороги.

Значит, она должна быть где-то рядом.

Послушайте, с вами все в порядке?

Он заговорил неожиданно громко, почти закричал.

Идиотский штамп – неуклюжий перевод стандартного

«you o» key?» – тоже переключался в сознание с экрана.

Крутые голливудские ребята в сложных ситуациях, а точнее, в их финале, непременно задают этот вопрос тем, кто, по их мнению, мог еще остаться в живых.

В любом другом случае вопрос прозвучал бы глупо.

Сейчас помертвевшие губы, против его воли, произнесли нечто кошунственное.

Ибо он совершенно уверен был в том, женщина мертва.

Странная уверенность в том, чего вроде бы никак нельзя было знать наверняка, скоро получила подтверждение.

Бледное, расплывчатое пятно в темном провале обочины было неподвижным, и рождало довольно ясное представление о лежащем на земле предмете, вещи, словом – субстанции неодушевленной.

Он подумал: наверное, это ее платье.

И не ошибся.

Светлое тонкое платье, из какой-то струящейся, приятной на ощупь ткани, название которой он не знал.

Странно, но другой одежды на женщине не было: ни крутки, ни плаща, ни даже легкой кофточки или шарфа.

Сейчас его поведение было полностью подчинено тому осколку сознания, который оценивал случившееся невозмутимо, с холодной пронизательностью стороннего наблюдателя или эксперта.

Потому, наверное, нашлись силы внимательно осмотреть тело.

Тщательно, но безо всякой надежды, он попытался нащупать пульс, сначала – на тонком запястье и, а после – на шее, в том месте, где обычно едва заметно подрагивает сонная артерия.

Потом, вспомнив еще один, где-то подсмотренный медицинский прием, приподнял безжизненное веко, и аккуратно, кончиком мизинца коснулся глазного яблока – реакции не последовало.

Он медленно провел руками вдоль тела, пытаясь на ощупь обнаружить повреждения, но не нашел ничего и только отметил, что гладкая кожа женщины на удивление холодна.

«Странно – подумал он, продолжая свои исследования – но ведь она погибла только что, несколькими минутами раньше, когда же успела остыть?»

И тут же нашел ответ.

Холодно.

Теперь была уже ночь, хоть и весенняя, майская, но все же довольно прохладная, а женщина одета в тонкое платье.

Она просто замерзла, потому и кожа так холодна.

Но почему она так странно одета?

Руки, между тем, коснулись ее головы.

Пальцы немедленно запутались в свободно распущенных, тонких волосах, довольно длинных, и вроде бы, – светлых.

В лунном сиянии лицо женщины казалось странным.

Неживым-то уж точно.

Но еще – неземным.

Тонким, прозрачным, хрупким.

С правильными, но мелкими чертами, слишком острыми, что, несомненно, вредило ее красоте.

Впрочем, заостриться они могли совсем недавно, после того, как женщина умерла.

Теперь в этом не оставалось сомнения.

Он медленно распрямылся и замер, не зная, что делать дальше.

В голове промелькнула еще одна случайная, вроде бы, мысль.

«Случись кому – подумал он вдруг – наблюдать за мной из укрытия, он непременно решил бы, что перед ним холодный, расчетливый убийца, или того более – маньяк»

Это было, бесспорно, справедливое замечание, ибо со стороны его неспешные, методичные действия выглядели зловеще.

Однако ночное шоссе было по-прежнему пустынным, даже ветер, тот, что разогнал давеча дождевые тучи, стих.

Все вокруг замерло, затаилось в ужасе перед самой смертью, которая бестелесным призраком явилась сюда, чтобы забрать то, что принадлежало ей по праву.

Однако, было в этом глубоком, абсолютном безмолвии еще нечто.

Возможно, впрочем, что это нечто почудилось только одинокому человеку, застывшему у темной обочины.

И было это просто спасительным самообманом.

Но как бы там ни было, он вдруг ощутил, что пространство с ним заодно, что оно не только не осуждает его, но и, напротив, выступает и намерено выступать впредь верным, молчаливым сообщником.

Он сделал несколько неуверенных шагов к машине, потом ускорил шаг.

Мерцание красных сигналов в ночи неожиданно показалось предательской выходкой, направленной на то, чтобы обнаружить его присутствие.

Он почти побежал, но, выскочив на асфальтовую твердь, неожиданно споткнулся обо что-то, и сбавил темп.

Поначалу он не собирался останавливаться и тратить драгоценное время.

Но потом все-таки остановился.

У самой кромки дороги, там, где сходило, на нет, гладкое асфальтовое покрытие, и на него смело напоззали дерзкие молодые травинки, опрокинутая вверх острым высоким каблучком лежала женская туфелька.

Он замер на сотую долю секунды, не более.

Но следом, подчиняясь, внезапному импульсу, нагнулся и, быстро подхватив «лодочку» с земли, стремительно бросился к машине.

Прошла еще пара секунд, и замороженную тишину майской ночи снова распорол тревожный звук – взвизгнули, срываясь с места колеса.

Табун лошадиных сил, запертый под капотом, вздыбился,

захрапел и отчаянно, словно целая стая хищников вдруг показалась на горизонте, рванул с места в карьер.

Старик. Год 1912

Лев Модестович Штейнбах родился в Киеве в 1912 году.

Отец его, Модест Леонидович, был профессором психиатрии, ученым, что называется, с именем.

Психиатрами были дед, и прадед.

Никто не сомневался, что мальчик пойдет по их стопам, но главное – он и сам не мыслил ничего другого.

Дети любят играть «в доктора», и когда наступал черед маленького Левушки исполнять почетную роль врача, он начинал беседу с «пациентом» не так, как все.

Вместо традиционного «что у вас болит?» или «на что жалуетесь?», он обращался к «больному» с непонятным вопросом, который зачастую ставил партнера в тупик.

– Ну-с, уважаемый, извольте напомнить мне, како сегодня число? – вкрадчиво любопытствовал Лев Модестович, в точности копируя интонации отца.

Октябрьский переворот, как ни странно, не внес существенных изменений в его судьбу.

Конечно, были голод и разруха.

Преданная кухарка Нюся уносила куда-то материнские ротонды и палантины, соорудив из обычной простыни вместительный узел.

Потом в ход пошли уже и сами тонкие полотняные простыни, украшенные шитьем, с вышитой в углу монограм-

мой – приданое матери. Их предприимчивая Нюся выменивала на муку и сало.

На кухне жарили пирожки – пустышки, запах расплавленного свиного сала надолго поселялся в квартире.

Но пирожки получались очень даже ничего, и жить было можно.

Полыхала гражданская война.

Стреляли близко, прямо под окнами профессорской квартиры.

Под звон колоколов входила добровольческая армия, и где-то за городом, по слухам, расстреливали комиссаров.

Потом в город врывались красные – человека могли пристрелить прямо на улице исключительно за то, что имел несчастье носить бородку, напомнившую кому-то из товарищей, бороду низвергнутого Императора.

Ураганом проносились петлюровцы.

Грабили магазины и квартиры, и, разумеется, тоже расстреливали – и комиссаров, и офицеров белой гвардии.

Но позже все как-то успокоилось.

Новые власти, надо полагать, не испытывали особой любви к старорежимному профессору, но душевные недуги, как оказалось, продолжали поражать людей, несмотря на то, что царство свободы вроде бы наступило, а впереди маячило и вовсе безоблачное коммунистическое завтра.

Словом, психиатрическая лечебница, закрытая было по причине войны и разрухи, была открыта вновь, и возгла-

вить ее предложили Модесту Леонидовичу.

Врачевать душевные недуги революционные матросы и свободолюбивые кухарки – хоть и готовы были выполнить любое партийное задание – все же не умели.

Да и не гоже было победившему классу возиться с умалишенными.

Были дела поважнее.

Модест Леонидович предложение принял, чем обеспечил семье, более ли менее сносное существование.

Надо сказать, что с годами оно только улучшалось.

В тридцатом году взамен утраченной в лихолетье ротонды, он преподнес в подарок жене прекрасную котиковую шубку.

Но знаменательным этот год для семейства Штейнбахов стал вовсе не по этой причине. Льву Модестовичу исполнилось восемнадцать лет, и не иначе, как на его счастье появилась, наконец, счастливая возможность получить образование.

Левушка уехал в Москву.

Его учителями стали такие же старорежимные профессора, как Модест Леонидович, так же, как и тот, оставшиеся в советской России, незнамо за каким лешим.

Учеником Лев Модестович оказался прилежным.

И талантливым.

Весьма талантливым, что выяснилось довольно скоро.

Студенческие работы Штейнбаха – младшего привлекли

внимание коллег, и вызывали в профессиональной среде живейшие дискуссии.

Идеи молодого ученого были довольно необычны и даже дерзки.

Самые убежденные и последовательные их критики всегда начинали с того, что никакого отношения к медицине вообще, и к психиатрии в частности – исследования Льва Штейнбаха не имеют.

Впрочем, с этим тезисом он никогда не спорил, и всерьез подумывал о том, чтобы оставить медицинский факультет, ради факультета психологического.

Но не успел.

Шквал страшных репрессий обрушился на тех ученых, чьи труды по психологии и философии заставили молодого Штейнбаха отложить в сторону учебники по психиатрии. На его глазах происходило страшное: наука, которой намеревался посвятить себя, с корнем выкорчевывалась из российской почвы.

Впереди были десятилетия отрицания и осуждения.

Изгнание и забвение.

Впереди был мрак.

Разумеется, ничего этого Лев Модестович знать не мог.

Он испытал ужас и шок.

Был обескуражен, растерян, раздавлен, но... остался на медицинском факультете и продолжил учебу.

Однако исследований своих не прекратил.

Риск, как полагал Штейнбах, был невелик, ибо приемы воздействия на человеческую психику, которые, собственно, и были его предметом, могли с успехом применяться в лечебных целях.

Методика была новой и довольно сложной, но разрешение на проведение эксперимента в одной из подмосковных психиатрических больниц было получено.

Результаты оказались блестящими.

Льва Модестовича поздравляли.

Ученые мужи говорили о большом открытии, и... не подозревали, что видят только вершину айсберга.

Достаточно было легкой модификации – и техника Штейнбаха начинала столь же блестяще работать применительно к людям совершенно нормальным.

Их, разумеется, незачем было лечить. Но суть методики, в том-то как раз и заключалась, что благодаря ей, больного человека удавалось привести к излечению, а здорового – подвести к... ч ему угодно.

Однако ж, фанфары гремели.

Методика Штейнбаха анализировалась и так, и эдак.

Наконец, Лев Модестович, с облегчением решил, что истинных ее возможностей никто так и не распознал.

Он ошибся.

Горина. Власть

«Здравствуй, заяц!

Думаю, сейчас ты очень удивилась.

Просто вижу воочию, как поползли вверх твои тонюсенькие брови.

Кстати, никогда не мог понять, зачем женщины щиплют их, обрекая себя на такие страдания. Неужели ты на самом деле полагаешь, что толщина бровей может всерьез изменить внешность?

Странно это, но даже самые умные женщины – а ты, без всякого сомнения, самая-самая! – подвержены самым глупым бабским заморочкам.

Но я отвлекся.

Итак, ты удивилась уже самому факту этого письма.

Действительно, в чем уж твой покорный слуга никогда не был замечен, так это в пристрастии к эпистолярному жанру.

Но – обстоятельства, которые, как тебе известно, иногда бывают сильнее нас, похоже, постучались и в мою дверь.

Вот, я и сделал одно из самых трудных признаний.

Признал, что обстоятельства сильнее меня.

А поскольку автор этих обстоятельств – ты – что ж! – пой, пляши, торжествуй.

Ты победила.

Поверь, заяц, признавая это, я не испытываю отрицательных эмоций.

Ни обиды, ни досады или злости, даже чувство уязвленного самолюбия не подает голос.

И уж тем более нет в моей душе ничего недоброго, темного, потаенного по отношению к тебе. Не огорчает меня эта твоя победа.

Возможно, и не радует.

Пока.

Потому, что допускаю: если разум мой и сердце будут двигаться в том же направлении – скоро смогу порадоваться тому, что ты, крохотный, пушистый мой зайчонок, стала такой сильной и могущественной, что победила самого меня!

И еще прошу, поверь уж, будь добра мне на слово, все, что я сейчас говорю, а вернее пишу – пишу совершенно искренне. Возможно, более искренним прежде я с тобой не был.

А уж с кем тогда был, если не с тобой?

Ни с кем.

Кстати, еще одно лирическое отступление.

Пишу и начинаю понимать, почему предки оставили такое эпистолярное наследие.

Скажешь, у них не было телефонов, факсов, электронной почты и прочих технических изобретений, сводящих всю сложную гамму человеческого общения к простому нажатию кнопки?

Еще недавно я и сам думал также, но теперь, пожалуйста, стану спорить.

Нет, дорогая моя, дело не в этом, или уж, по меньшей мере, не только в этом.

Оказывается – эту истину я открыл для себя только что – проще всего излить душу чистому листу бумаги. Или – ладно, согласен, сделаем поправку на цивилизацию! – персональному компьютеру.

К чему я это?

Да, вот к чему.

Думаю, что сказать все это, глядя в твои ведьмацкие глаза, я бы не смог.

Нет, точно не смог!

Сорвался бы, начал лукавить, становиться в позы, что-то из себя изображать, надувать щеки, умничать.

Да ты сама отлично знаешь весь мой петушиный арсенал!

А вот писать могу.

Перед тобой и перед Богом чист – пишу правду.

Так вот, касательно твоей победы.

Она вызревала исподволь, постепенно и вроде бы незаметно.

То есть, это я долгое время не замечал твоего неуклонного становления.

Для тебя, надо полгать, все обстояло совершенно иначе: ты росла. Полагаю, процесс этот был сознательным

и нелегким.

Но я, старый болван, воспринимал тебя в статике, неизменной данностью, ниспосланной Господом. Уж очень мил был сердцу твой изначальный образ: чудное, беззащитное, вдобавок, напуганное до смерти существо, в глазах которого я – только что – не Бог, но уж, небожитель – точно, во власти которого спасти или погубить.

Надеюсь, не обидел тебя этим пассажем, и ты не станешь спорить: был в истории наших отношений такой период.

Потом начались перемены.

Думаю, на бессознательном уровне я их замечал.

Просто не мог не замечать.

Однако, рассудок слишком занят был собственными проблемами, важнее которых не было на свете.

А может, душа моя уже тогда угадала, почуяла угрозу, которую таили в себе эти неминуемые перемены, и мало-душно закрывала глаза, не желая признать очевидного.

Когда же настал, наконец, момент истины, я прозрел в одночасье, и увидел новую, тебя.

Повзрослевшую.

Возмужавшую.

Завоевавшую определенные – весьма завидные! – позиции на той стезе, которую долгое время я, самонадеянный идит, считал исключительно своей прерогативой.

Не скрою, это был жесткий удар.

И сразу же попрошу у тебя прощения, потому что все мое дальнейшее поведение было сплошным отвратительным и стыдным свинством.

Чего я только не делал, чтобы остановить твой стремительный взлет!

И врал, пытаясь убедить тебя в том, что избранный путь тебе не по силам.

И подличал, организуя всевозможные препоны и ловушки.

И откровенно «ломал через колено», грозя оставить, разорвать наши отношения.

Впрочем, в этом, последнем, был честен.

Когда тщетность всех моих усилий стала очевидна, я, на самом деле, решил вычеркнуть тебя из жизни.

Прием этот хорошо известен, и хотя, скажем прямо, не делает чести взявшим его на вооружение, действует неплохо. Суть его проста: фактор, вызывающий отрицательные эмоции следует исключить из обхода.

С человеком – раззнакомиться, рассориться.

Предмет – забросить в дальний угол, а то и вовсе – выбросить на помойку.

Зловредную телевизионную программу – не смотреть.

Эмоции, которые немедленно закипали во мне и били, что называется, ключом, стоило только твоему голосу раздаться где-то поблизости, особенно – в эфире (а ты, как назло мелькала на экране все чаще – журналисты, пожалуй, первыми оценили твои многочисленные достоинства),

скажем так, не доставляли мне радости и не делали чести.

И я решился.

Рванул с корнем.

Обрубил концы.

Сжег мосты.

Что там еще говорят и пишут в подобных случаях?

Справедливости ради, замечу все же, что поначалу все у меня получилось.

Мы расстались.

Я знаю, ты страдала.

Прости за то, что напоминаю об этом, да еще в таком высокопарном стиле. А еще прости за то, что мне осознание этого, доставляло некоторое, пусть и не слишком ощутимое, но все-таки – облегчение.

Не скажу – радость.

Радоваться было нечему.

Для меня потеря оказалась куда более тяжелой, чем мог предполагать.

К тому же, то, как я обставил наше расставание, а вернее – если уж быть честным до конца! – собственное безство, было так гадко и стыдно, что говорить об этом до сих пор не хочется.

Стыдно.

Никогда в жизни, я не чувствовал себя таким трусом и подлецом, как в те дни.

Ты, со свойственной тебе горячностью, искала, требова-

ла объяснений.

Я трусливо скрывался, отсиживался дома, отключив телефоны.

Мысль о встрече с тобой и необходимости что-то объяснить повергала в ужас.

Да и что, собственно, мог я объяснить тебе?

Сказать правду, то есть признать, что ты «переросла» меня, «обошла на повороте» и осознание этого мне невыносимо?

Что женщина, из которой пару лет назад я легкомысленно собирался «сделать человека», состоялась в такой степени, что стала для меня непозволительной роскошью?

Не по Сеньке, дескать, шапка?

Не по сверчку шесток?

И мне от этого тошно, и белый свет не мил?

Но в том-то и была суть проблемы!

Если бы мог я в ту пору признать такое, то и бежать от тебя не было никакой нужды!

Жил бы подле, да радовался.

Нет, гордыня не позволяла.

Она громче всех прочих чувств вопила тогда во мне, моя гордыня.

Сильна был, стерва!

Я чувствовал себя тараканом, мерзким, грязным, помойным тараканом, который, напакостив, в животном ужасе, забился в щель и притворилсядохлым. А может, и не при-

творился вовсе, а на самом деле, от страха сдох.

Жил ли я все то время, пока корчился от зависти?

Очень условно.

Думаю, а вернее, надеюсь, что судьба моя и сейчас тебе не безразлична.

Но уверен, что в те дни ты наблюдала за событиями моей жизни пристально, и потому знаешь, как печально, если не сказать – трагически они развивались.

Далек от мистики, но, право слово, впору предположить, что судьба карала меня за то зло, которое причинил тебе.

Карала жестоко и показательно.

Все, из чего складывалось мое легендарное благополучие: репутация, карьера, связи – все, чему завидовали враги и жаждали последователи, водночасье рассыпалось, словно карточный домик, из основания которого выдернули одну-единственную карту.

Даму, разумеется.

Только вот какую?

В токовании мастей, признаюсь, не силен.

Словом, я стремительно терял все и неуклонно скатывался вниз по той самой лестнице, что вознесла меня к вершинам.

Ступенька за ступенькой.

В строгой обратной последовательности.

Иногда, как и при восхождении, перепрыгивая сразу через несколько уровней.

И вот настал черед последнего предела.

Падать дальше было уже некуда, но бездна, в которую я сорвался, оказалась отнюдь не бездной.

Я ощутил себя сидящим или даже лежащим, впрочем, уместнее будет сказать – валяющимся на дне глубокой выработанной шахты.

Мне было очень скверно – тоскливо и одиноко.

Кругом были тьма и запустение.

Но, оказалось, что жить можно и так!

К тому же, как выяснилось, я был не одинок.

Скажу больше: далеко не одинок!

Вокруг копошились такие же бедолаги, свергнутые с высот, а то и вовсе туда не добравшиеся.

Никогда.

Представляешь, всю жизнь – не дне выработанной шахты, о которой там, наверху никто толком и не помнит?!

Но они жили, и мало – помалу, я тоже приспособился к этой жизни.

Мир постепенно обрел краски.

Разумеется, это были совсем иные краски, чем те, в которые была раскрашена моя прошлая жизнь.

Не было места торжественной позолоте и царственному пурпуру, но, знаешь ли, скромная акварель тоже ведь иногда занимает место в прославленном музее.

Постепенно ко мне вернулось многое, но еще большее пришло, как бы, сызнова.

К примеру, я полюбил те книги, что прежде вызывали только раздражение и желчную иронию.

И, наконец, в этот пастельный, негромкий мир вернулась ты.

Теперь я с нетерпением щелкаю кнопки на телевизионном пульте, в ожидании новостей: журналисты, как и прежде, охотятся за тобой, но меня это только радует.

Потом мне предложили работу.

Должность оказалась более чем скромной, но я несказанно обрадовался уже самой возможности, и – представь себе! Впрочем, тебе, наверное, трудно будет это представить! – впервые за много лет снова ощутил тот восхитительный кураж, который охватывал меня прежде перед началом интересного дела.

Тогда думалось, это потому, что вершу судьбы миллионов.

Теперь понимаю, как был не прав!

И вот, проснувшись как-то раз, я вдруг почувствовал себя настолько сильным, что смог, наконец, сформулировать то, что пишу сейчас.

Сначала очень осторожно.

Мысленно.

С трудом подбирая слова.

Надо сказать, подбирались они довольно долго.

Потом нелегко и непросто складывались в предложения.

Словом, письмо это рождалось в муках, но сейчас, завер-

шая его, я снова испытываю то странное, счастливое и радостное волнение, которое беспричинно вроде бы охватило меня в день первой нашей встречи.

«С чего бы это?» – удивился я тогда, не понимая, что, отворив знакомую до отвращения дверь собственной приемной, вдруг оказалась на пороге не то, что нового этапа в жизни, но просто – новой жизни своей.

Теперь – понимаю.

И счастлив уже только от этого, хотя прекрасно отдаю себе отчет в том, что рассчитывать на взаимность не вправе.

И все же пишу: хочу, ищу встречи с тобой.

Мечтаю о ней.

Люблю.

Георгий.

P. S. Звонками одолевать тебя не стану.

По себе знаю, как раздражают навязчивые собеседники.

Об одном прошу, если, разумеется, дочитала письмо до конца, найди меня сама.

Теперь это совсем не проблема.

Г.»

Женщина, которой было адресовано это письмо, была еще довольно молода и хороша собой.

Тонкими были черты ее лица, хрупкой фигура.

Изумрудная, мерцающая зелень глаз покоряла многих, а те, кто остался непокорен, просто удивлялся тому, какие

щедрые дары иногда рассыпает мать— природа, и долго помнил о них, рассказывая другим, при случае.

Все это, впрочем, нисколько помешало ей, завоевать прочную и весьма устойчивую репутацию железной леди, умеющей не только виртуозно держать удар, но и мастерски наносить ответный.

При том утверждали, что ни жалости, ни страха она не знает, и приводили тому очень убедительные примеры.

Теперь она плакала, закрыв лицо узкими ладонями.

Слезы, срываясь, с точеных скул, падали на стол.

Год назад – всего только год назад! – это странное, волнующее письмо, крик души, которая прежде – казалось ей – могла только смеяться, обидно и зло, вознесло бы ее к вершинам счастья.

Год назад она бы уже неслась на крыльях, мчалась, обгоняя время....

Вполне возможно, что она даже не дочитала бы письмо до конца, рванувшись на поиски того, кто так трогательно просил об этом.

Сегодня это было невозможно в принципе.

Человек, написавший письмо, вот уже год, как пребывал в ином мире.

Старик. Год 1939

Кабинет в знаменитом здании на Лубянке оказался неожиданно маленьким и даже уютным.

Зеленое сукно на столе, лампа под зеленым абажуром, остро отточенные карандаши в небольшой вазочке граненого, темно – синего стекла.

Потрет вождя на белой стене.

Деревянные панели темного дерева.

Широкая ковровая дорожка под ногами, красная, отороченная зеленым.

Люстра погашена, и мягкий свет настольной лампы скрашивает казенщину.

Даже сочетание красного с зеленым не режет глаз.

Хозяин – подстать кабинету.

Интеллигент, с тонкими аристократическими пальцами, вкрадчивым баритоном, и приятной, слегка ироничной манерой объясняться.

Гладко выбрит, лицо худошавое.

Одет, по тогдашней моде, во френч, полу – военного образца, без погон.

Глаза скрываются за стеклами очков в круглой металлической оправе.

Неторопливо, по-домашнему прихлебывает он чай из граненого стакана в мельхиоровом подстаканнике. Изредка на-

поминает о том же посетителю, дескать, стынет чай, вы пейте, не стесняйтесь!

Льву Модестовичу, однако, не до чая.

– Вам ведь известно, наверное, что в моей семье все – потомственные врачи. Психиатры. Я не мыслю себе другой карьеры. И никогда не мыслил.

– Ну, разумеется. Нисколько в этом не сомневаюсь. Вы работали над медицинской проблемой, но неожиданно.... Неожиданно, Лев Модестович.... Вы волнуетесь сейчас, не знаю, правда, отчего бы это. И от волнения позабыли важную деталь. Так вот, совершенно неожиданно, выяснилось, что вышли далеко за ее рамки. Разве я не прав?

– Да-да, это возможно. Теперь я понимаю, что такое возможно. Но, поверьте мне, ни о чем таком я не думал, и уж тем более ни с кем это не обсуждал...

– А вот это, напрасно Лев Модестович. Я ведь и не спрашивал вас о том, с кем вы это обсуждали.

– Я не обсуждал, честное слово!

– Хорошо, не обсуждали. Или обсуждали. Что вы право, рапортуете, как пионер. Меня это не интересует. А вы, судя по всему, наслушались глупой болтовни, будто мы здесь, только и заняты тем, что заставляем людей доносить друг на друга.

– Но ведь....

– Что – ведь? Ведь доносят? Верно, доносят. И скажу вам откровенно иногда мы действительно, прилагаем некоторые

усилия, чтобы получить признания. У тех, кто до сих пор еще в слепой ненависти своей или по глупости воюет с советской властью. Идет борьба. Нам наносят удар. Что же прикажете, щеки подставлять? Однако, касательно доносов. Можете поверить мне на слово, Лев Модестович. Впрочем, можете и не верить. Но большинство из тех, кто рассказывает о том, как мы здесь под пытками заставляем писать доносы, доносят сами. И, совершенно, замечу, добровольно. Вам будет сложно представить, как много сообщают нам граждане, так сказать, . . . друг о друге . . . И с каким усердием! Так что – оставим это. Вы не совершили ничего предосудительного. Вот, собственно, что я пытаюсь втолковать, на протяжении часа, чудак вы человек! Ни – че – го! И прекратите, наконец, оправдываться. Запомните, нигде в мире, вы не найдете такого трепетного отношения к ученым, как в нашей стране. Вам не оправдываться, вам сейчас требовать от меня нужно.

– Чего требовать?

– То есть как это – чего? Лаборатории. Института. Вам же необходимо продолжить работу

– Но почему – у вас?

– Лев Модестович, давайте, наконец, обозначим некоторые . . . ну, скажем так, – параметры нашего разговора.

– Давайте.

– Так вот, параметр первый. В дальнейшем мы будем исходить из того, что мне хорошо, хотя, быть может и не в полной мере, понятны все – слышите меня, *все* – возможности

вашей методики. А вам столь же хорошо понятно, что это понятно мне....

В Киев Лев Модестович возвратился в августе 1940 года.

Незадолго до этого, весной того же года местные власти получили не подлежащий обсуждению – и разглашению! – приказ из Москвы.

Им предписывалось обеспечить молодого ученого всем необходимым для успешной работы.

Приказ, разумеется, был выполнен неукоснительно.

Льва Модестовича ожидала небольшая лаборатория, отвечающая самым взыскательным требованиям, и практически безграничный полигон для экспериментов.

Но работать здесь ему оставалось совсем недолго.

Точеная фигурка женщины в развивающихся одеждах была устремлена вперед и словно парила в воздухе, обгоняя машину, символом которой служила долги годы.

Лола. Нефть

«Беги, Эмили (, мчись, догони мою удачу», – подумала

Лола

Взвыли сирены.

Идущая впереди полицейская машина разгоняла автомобильный поток.

Сзади ей вторил мощный джип, замыкавший кортеж.

Лола осторожно выглянула из-за шторки, скрывающей от любопытных глаз пассажиров лимузина.

Автомобили на дороге испуганно шарахались к обочине.

Профессиональным взглядом – за плечами все же был режиссерский факультет ВГИКА – она оценила картинку.

Отдельные кадры легко сложились в яркую мозаику.

Крупный план – скульптура на капоте.

Общий план – дорога с летящим кортежем.

Снова несколько «крупняков» – лица людей в машинах.

Гамма чувств – любопытство, досада, восхищение, злость...

Поймав себя на этом, Лола усмехнулась.

Профессиональные навыки вряд ли потребуются в ближайшее время.

Четверть часа назад совет директоров Национальной нефтяной компании единогласно избрал ее своим Председателем

Впрочем, ничего другого ему просто не оставалось.
Не сбавляя скорости, кортеж влетел на летное поле.

Промчался мимо вереницы крылатых машин и замер возле небольшого – 547– «Боинга» стоящего несколько в стороне.

Автомобили красиво выстроились у трапа – «Ролс – Ройс» – прямо возле ступеней, машины сопровождения – вереницей следом, каждая, отступая ровно на полкорпуса.

Ни сантиметром меньше.

Или больше.

Лола молчала, ожидая, что ей подскажут, как вести себя дальше.

И почти страдала от этого молчания.

Оно могло показаться высокомерным.

На самом же деле, было, скорее, робким.

Она просто боялась заговорить.

И в сотый раз отчаянно пыталась понять – почему?

В чем заключается ее вина пред братом?

Братом.

Даже мысленно слово давалось очень трудно.

До тридцати трех лет – воистину, мистический возраст! – у Лолы Калмыковой братьев не было.

Он тоже молчал и тоже почти страдал.

Впрочем, скорее всего, безотчетно.

Ибо плохо представлял себе пока – что есть страдание?

А вот ярость – да!

Ее раскаленная волна захлестывает разум и парализует волю, полностью подчиняя себя телу.

Это чувство было ему хорошо известно.

Испытано многократно.

Сейчас ярость владела им безраздельно. Приступ был таким сильным, что он испугался.

Самое скверное было то, что чувствам нельзя было дать волю.

По крайней мере, теперь.

С каким бы наслаждением он сомкнул пальцы на тонкой шее этой сучки.

Или нет – задушить – это было бы слишком гуманно.

А вот медленно – медленно вонзить нож в тело.

Потом еще раз.

И еще.

И еще.

Он физически ощутил ладонью рукоятку стилета, того самого, которым буквально выпотрошил недавно визгливую шлюху из варьете

Из-за чего, кстати?

Он даже удивился мимолетно, но, действительно, не смог вспомнить.

Но кровь текла по рукам.

Вязкая.

Теплая.

Ах, с каким бы наслаждением он повторил бы это сейчас.

Медленно, аккуратно, почти бережно.

Чтобы она ненароком не умерла сразу....

Нет.

Нельзя.

Нужно терпеть.

Он так сжал руки, что пальцы побелели.

Сжался сам, напрягая каждый мускул в безумном усилии остановить мощный порыв.

Надо было что-то говорить.

И делать.

Черт его знает, сколько времени уже машина стоит у трапа?!

Ну, так, когда ты определишься окончательно? Насчет того, где будешь жить и.... вообще? – голос звучал на удивление ровно и даже насмешливо

Я определюсь.... Я постараюсь определить в течение недели. Нормально? – (Какого черта я заискиваю? Когда определюсь, тогда и определюсь! Когда моя левая пятка захочет....)

Не тяни, пожалуйста.

Он нашел в себе силы повернуться и посмотреть на нее.

И даже улыбнуться.

Едва заметно, одними губами

Но – улыбнуться.

Да, и вот еще.... – щелкнули замки тонкого атташе-кейса – Пока не оформили тебе кредитные карты.... Возьми, на первое время....

Крышка чемоданчика, захлопнулась, едва приподнявшись.

Это получилось непроизвольно, но, когда он увидел, как дернулись ее веки – даже обрадовался.

Нищенка.

Грязная шлюха, дочь грязной шлюхи, она и не видела никогда таких денег.

Но – стоп!

Нельзя!

Нельзя!

Нельзя!

– Здесь сто тысяч – на первое время. Хватит, надеюсь....

На булавки

– Спасибо.... – (Господи – сто тысяч долларов! Сразу. Господи! Что-то надо сказать.... Что-то обязательно надо сказать.... Господи, что же говорят в таких случаях?!) – Спасибо....

– Не за что. Это, собственно, твои деньги.... Ну – пока? Обойдемся без официальных церемоний?

– Конечно. Пока.

Он не вышел из машины.

Не смог себя заставить.

Когда самолет уже вырулил на взлетную полосу, он подумал: как жаль что все истории про концентрацию энергии и передачу ее на расстоянии – всего лишь мистический бред!

Будь в них хоть доля истины – у «Боинга» сейчас отвали-

лись бы крылья.

Загорелся двигатель.

Он немедленно взорвался бы в воздухе, разлетелся, к чертовой матери.

Рассыпался в прах.

Таким сильным и яростным было его желание.

Никогда, ничего в этом мире он не хотел так неистово, как ее смерти.

Сатрик. Год 1941

Прошел год.

В сентябре 1941 доктор Штейнбах вновь сидел в кабинете, как две капли воды похожем на тот, лубянский.

Между ними, однако, простирались теперь не только километры – пролегла линия фронта.

Зеленое сукно на столе, и лампа под зеленым абажуром, и красная дорожка казались фантомом, видением из прошлой жизни.

И только лицо на портрете было другим.

Однако это было единственным существенным отличием.

Хозяин кабинета – это более всего наводило на мысль о какой-то дьявольской фантазмагории! – было вроде бы тот же, что и в Москве.

Нет, внешне они разительно отличались друг от друга.

Этот был много моложе, и, пожалуй, красивее.

Холодные глаза цвета пасмурного осеннего неба.

Волевой подбородок.

Золотистая – волосок к волоску – шевелюра.

Черный с серебром мундир с иголки ладно сидит на спортивной фигуре.

Он и говорил иначе – громко, отрывисто, с напором.

Никакой вкрадчивости и мягкой иронии.

К тому же – легкий акцент, не лишенный, впрочем, при-

ятности.

Однако, Лев Модестович, этой разницы, словно не замечал.

В его восприятии два человека слились в единый, удивительно целостный и даже гармоничный образ, который оказался законченным именно теперь – когда Лев Модестович увидел второго.

И этот, цельный, обретший, наконец, недостающие прежде черты, был явно доволен.

А потому, говорил с посетителем вполне дружелюбно.

– Вы должны быть благодарны Богу и фюреру, господин Штейнбах. В этой варварской, отсталой стране ваши исследования никогда не смогли бы развернуться должным образом. Мой Бог, как вы вообще умудрялись работать в клетке большевистской идеологии? Она не способна осмыслить безграничность вселенной и отрицает сам факт существования души, не говоря уже о том, чтобы признать возможность управлять чужой душой.

– Но я работал.

– О, да! И хотя большевики делали все, чтобы скрыть от мира ваши труды, можете не сомневаться, нам они известны! Я склоняю перед вами голову, господин Штейнбах.

– Неужели?

– Вы иронизируете, герр профессор? А, понимаю. Большевистские рассказы про то, как мы уничтожаем евреев.

– А вы не уничтожаете?

– Уничтожаем, разумеется. Но вам должно быть известно и другое. Мой учитель и наставник доктор Герман Вирт доказал, что еврейские философы узурпировали тайные юридические знания, заключив часть из них в Библию, и объявили это собственной доктриной.

– В Библии заключена доктрина Божья

– Чушь! Мы создаем новую религию и новых богов. И не лукавьте, герр профессор, вы не хуже меня знаете, как это делается. Нам открыты сегодня знания древних монастырей Лхасы (, мы владеем тайнами Зеленого Дракона. (Взгляните на фюрера, разве не блестяще владеет он техникой посвященных?! А наши парады! Вам они должны сказать о многом. Впрочем, парады на Красной площади тоже заслуживали внимания. Я читал ваши работы, исследующие древние мистерии, господин Штейнбах. Мы с вами говорим на одном языке. Но вернемся к вашему вопросу. Чтобы расставить точки над *i*. Доктор Вирт блестяще доказал, что ваши пророки были мистическими врагами арийцев – наших великих пращуров. Мы ученые, доктор Штейнбах, мы обязаны сообщать вождям истину. Другое дело, как истолкуют эту истину простые служаки, исполнители воли вождей?

– Иными словами, простые служаки просто не так поняли доктора Вирта?

– Бросьте, Штейнбах! Сопливый гуманизм не к лицу посвященным в тайные знания. Что нам слезы толпы? В наших силах заставить ее смеяться.

– По дороге в газовые камеры?

– По дороге туда – тем более! Разве это был бы не блестящий результат? Но оставим демагогию. Она не к лицу настоящим ученым. Я здесь потому, что мы ценим ваши труды. Однако, мы понимаем и то, что вам не давали идти вперед. Это очевидно. Повторяю: разве могли оголтелые материалисты, живущие исключительно днем сегодняшним, осознать истинные ваши возможности? Разум человека устремлен в будущее, сердце – же, напротив, стремиться в прошлое. Зов прошлого сильнее. Мы возрождаем древние мистические культы, и черпаем в них знания, дающие власть над толпой. Сталин тоже умел управлять толпой, направлять ее гнев против своих врагов. Он хотел всенародной любви. «Отец народов» – вот чего он добивался, и почти добился. Вы помогли ему в этом! Но ведь использовать вас для того, чтобы вколотить в сознание черни пару-тройку нужных мыслей – это все равно, что забивать гвозди античной статуэткой. Фюрер, как никто, способен оценить подлинный размах ваших разработок. В его власти бросить к вашим ногам весь мир! Исследуйте! Творите! Тысячи, сотни тысяч людей станут материалом для ваших экспериментов. Душа человека может быть еще более послушна, чем его тело – и тогда, собственно, отпадет необходимость современных войн. Зачем уничтожать тело, если можно подчинить душу? Вдумайтесь, господин Штейнбах – это ли не простор для вашего таланта?!

– Боюсь, вы переоцениваете мои возможности.

– Знаете что, герр профессор. Прежде, чем мы продолжим, я хотел бы кое – о – чем с вами договориться. Будет обидно, если досадные разночтения, приведут к фатальному итогу. Фатальному – для вас, разумеется. Итак, в дальнейшем мы будем исходить из того...

– что вы не хуже меня самого понимаете, каким образом могут быть использованы мои наработки. А я понимаю, что вы понимаете это не хуже меня самого....

Они говорили еще довольно долго.

Однако, разговора, в принципе, могло и не быть.

Холеного офицера «Аненэрбе» (в этом случае, заменила бы пара ээсовцев – рангом пониже, с манерами, оставляющими желать лучшего.

В сопровождении взвода солдат они ворвались бы ночью в профессорскую квартиру, и, не утруждая себя объяснениями, выволокли Льва Модестовича из постели.

Результат, так или иначе, был бы един.

Мрачный и величественный средневековый замок Алтан, затерянный в Нижней Силезии, на долгие пять лет стал для него темницей.

Впрочем, темницей весьма комфортабельной.

К тому же, все это время он продолжал работать.

Макеев. Медиа

Некоторое время он безотчетно гнал машину по шоссе.

Пространство вокруг, по-прежнему, казалось мертвым или затаившимся в ожидании страшного.

Никто не попался ему навстречу, никто не догнал на пустынной дороге.

И только полная луна назойливо маячила за лобовым стеклом, медленно перемещаясь к центру, словно норовя заслонить собой весь прочий мир.

Он ехал домой, и почти достиг цели.

Впереди была развилка, там следовало свернуть направо, а там уж – до дома рукой подать.

На развилке был пост ГИБДД.

Он вспомнил об этом, когда далеко впереди замигал зеленой точкой огонек светофора.

И сразу, вдруг, словно импульс слабого мерцания проник в сознание, разорвав пелену, понял – там, на знакомой развилке он должен сдаться дежурному инспектору и честно, без утайки рассказать о том, что произошло.

Наваждение рассеялось так же стремительно, как спеленало его в свои сети.

Внезапно, словно очнувшись от страшного сна – действительность, впрочем, оказалась ничуть не менее ужасной – он оценил всю степень безумия, заключенного в паническом

бегстве по лунной дороге.

Тщетного – по определению, ибо теперь он отчетливо представлял, сколько следов оставил на месте и аварии.

Уже очень скоро они укажут на него, как на преступника, к тому же – трусливого и подлого.

Ему стало стыдно и страшно.

Чувства заполнили душу именно в этой последовательности: сначала жгучий стыд, и только потом – страх.

Страх был сильным.

Он даже не заметил, как нога, беспрекословно подчиняясь напуганному подсознанию, нащупала педаль тормоза.

К развилке машина приближалась медленно.

Стрелка спидометра едва достигала отметки – двадцать километров в час.

Одновременно – похоже, что сознание, расколовшись в момент аварии, так и осталось многоликим – он молил Бога о том, чтобы дежурный инспектор оказался на месте.

В этой малости не отказала судьба.

Инспектор – кряжистый майор – коротышка с пышными пшеничными усами – мирно спал за рулем новенького «Форда», и долго не хотел откликаться, хотя он стучал по лобовому стеклу машины громко и решительно.

Просыпайся, командир. Авария

Какая еще авария, твою... Где?!

Недалеко, километров десять– двенадцать... Я женщину сбил.

Ты?! – маленький майор проснулся окончательно. Взгляд сразу стал напряженным и подозрительным – Пил?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.